

Повести и рассказы // Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1956
FB2: , 19.07.2010, version 1.0
UUID: FBD-66D5CB-DC31-F64E-64A3-51DB-26A9-18F0EC
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Викентий Викентьевич Вересаев

Марья Петровна

**Викентий Викентьевич
Вересаев**

Марья Петровна

Она узнала о несчастье три дня назад. К ней зашла перед обедом вдова ее старшего сына, служившая про-давщицею у Мюра и Мерилиза; минут пять рассеянно говорила о пустяках, а глаза были большие, настороженно-серьезные. Потом вздохнула, побледнела и дрожащим голосом сказала:

— Мамаша, приготовьтесь... С Васей несчастье.

Потомила еще с минуту, вынула из кармана газету и показала пальцем. В списке раненых и убитых стояло:

«С к о н ч а л и с ь о т р а н ... Голиков, Василий Ива-нович, прапорщик».

Это был младший сын Марьи Петровны.

Все эти три дня Марья Петровна бегала по Москве, чтоб разузнать что-нибудь о сыне, — где умер, можно ли получить тело для похорон. Робко стояла с поднятыми бровями в приемных, почтительно заговаривала с важными писарями и сердитыми чиновниками. Но такое у нее было скучно-желтое лицо и выцветшие глаза, такой неуверенно-настойчивый голос, что всякий, к кому она обращалась, нетерпеливо закусывал губу, гля-

дел впол-оборота и говорил:

— Сударыня, ведь русским же вам языком объясняют...

Была она на эвакуационном пункте при Николаевских казармах, оттуда ехала на трамвае в Астраханские казармы, в военный госпиталь. Посылала телеграммы в главный штаб, в полк, где служил сын.

Нигде ничего не удалось узнать. И уж больше нечего было предпринимать. Но ей было трудно оставаться в сыроватой своей комнате, где торчала в углу вязальная машина, где соседка и родственницы равнодушно сочувствовали и равнодушно восхваляли покойника. И она ходила по улицам в своей старой лисьей шубейке, останавливалась на перекрестках, неподвижно смотрела сухими глазами — и шла дальше. Слез не было. Душа сжалась в мерзлый, колючий комок, нельзя было глубоко вздохнуть, и некуда было деваться со своею тоскою и ужасом.

Качаясь, как на волнах, проносились автомобили с красными крестами, санитарные вагоны скользили по трамвайным рельсам, — и сквозь стекла видны были желтые,

исхудалые лица и повязки, повязки. В витрине писчебумажного магазина пестрели яркие картины и от-крытки, и все было о войне. От одной открытки Марья Петровна не могла оторваться: немецкий солдат с оскаленным, звериным лицом, с каскою на затылке и винтовкою в руке, победно попирал ногою тело женщины; кругом валялись трупы детей, сзади чернели клубы пожарного дыма.

Ужас был в душе: лютая, беспощадная сила встала и навалилась на землю. Бьют, крошат, уродуют. И за что? Кто их трогал? За что вдруг набросились на Россию? Что сделали! Что сделали!

Темнело. На низкой колоколенке, притулившейся под стеною семиэтажного дома, звонили к вечерне. Марья Петровна вспомнила, как сладко плакала вчера во время панихиды, когда запели «Со святыми упокой», и вошла в церковь. Было безлюдно, грустно и торжественно; гулко звучали возгласы священника; в полумраке, над лесом огненных язычков, светилось кроткое лицо с поднятою рукою и надписью: «Приидите ко мне...»

Марья Петровна глядела на образ, дышала

с легким стоном, сухо и деревянно крестилась. И вдруг все внутри затрепетало от злобы, и она поспешно вышла. В темном тупичке за церковью, где никого не было, Марья Петровна прижалась щекою к кирпичному углу сторожки и, стиснув зубы, стонала долгими, прерывисто-протяжными стонами и смотрела в темноту сухими, ненавидящими глазами.

И опять она ходила по улицам, тоскующая и смертно-одинокая, и все больше смерзалась душа в колючий, спи-рающий дыхание комок. О, только бы одной, одной бы только милости: чтобы очутиться около бесценного тела, и чтоб целовать милую курчавую голову с крутыми завитками у висков, припасть губами к кровавым ранам, — «Скончался от ран...», «Скончался от ран!» — и плакать, пла-кать, насмерть изойти слезами.

Чернела посреди улицы огромная триумфальная арка. Налево, в глубине понижающейся площади, громоздились купола и башенки, светились огненные циферблаты часов. Вокзал... Здесь, тому два месяца, Марья Петровна про-вожала сына на войну.

Сама для себя незаметно, она очутилась на вокзале, походила по буфетной комнате и вышла на пустынные перроны под железными навесами. Сторожа с бляхами мели длинными метлами темный асфальт. На отдаленной платформе, под светом электрических фонарей, темнели толпы солдат, пробегали санитары с красными крестами на рукавных повязках.

Она поплелась туда. Вдоль платформы тянулся длинный зеленый поезд, подносили из глубины вокзала носилки с людьми и ставили возле поезда. Большими кучками стояли солдаты, опираясь на костыли, с руками на перевязях, с повязанными головами. Марья Петровна, жалостливо пригорюнясь, уставилась на солдатиков — и вдруг отшатнулась. Батюшки, да что это? Невиданная форма, говорят меж собой — ничего не поймешь, кругом — солдаты со штыками.

Марья Петровна спросила человека в железнодорожной фуражке с малиновыми кантиками:

— Это кто же такие будут?

— Кто! Пленные!

— Пле-енные!.. — Она высоко подняла брови. — Авст-рияки?

— Австрияки есть. А вон они — немцы!

— Куда же их везут?

— В Орел перевозят... — Железнодорожник внезапно сделал строгое лицо и сказал: — Послушайте, посторонней публике здесь запрещается присутствовать.

И лениво отошел. Марья Петровна смотрела, широко раскрыв глаза. Так вот они какие!

Русский прапорщик в очках небрежным голосом, — видно, от скуки, — разговаривал по-немецки с бородатым германцем. Странно было: такой обыкновенный, рыжий немец, так добродушно улыбается, фуражка-бескозырка, как ермолка; подумаешь, и вправду добрый человек. А что, злодеи, делают! С ним рядом стоял другой немец, молодой, высокий и красивый, с русыми усиками. Вот этот сразу видно было, что зверь: гордый! Смотрел ми-мо, ни на кого не глядя, и презрительно сдвигал тонкие брови.

Прибежал фельдфебель, приказал пленным выстроиться попарно, крикнул: «Марш!» Они двинулись нестрой-ною, колы-

хающеюся вереницей. Ковыляли, опираясь на костыли, поддерживали друг друга под руки. Двинулся и красивый немец с русыми усиками. Мать честная! Он был без ноги! Вместо левой ноги от самого паха болталась пустая штанина. И немец прыгал на одной ноге, обеими мускулистыми руками опираясь о длинную палку.

Быстро прошел военный доктор с седенькою бородкою и черными бровями. Он что-то сердито крикнул фельдфе-белю. Фельдфебель растерянно скомандовал:

— Стой!

Пленные остановились. Доктор кричал на санитаров около вагонов. Бородатый немец, весело смеясь, балагурил с другими пленными, а сам поддерживал под руку своего соседа, красавца без ноги. Марья Петровна поглядывала на пустую штанину, колыхавшуюся в воздухе. Безногий, все так же презрительно сдвинув брови, потирал застывшие руки и кашлял простудным кашлем. Было только начало октября, но уже пятый день неожиданно завернули морозы. Ветер порывами заносил под навес перрона сухой, колючий

снег. Немец кашлял часто и по-долгу: видно, сильно простудился. А шинелишка легонькая. «И чего их в вагоны не посадят?» — брезгливо подумала Марья Петровна. И все приглядывалась с враждою к немцу: кашляет, руки иззябли, прыгает на одной ноге, а сколько спеси! И не взглянет ни на кого, как будто и не люди для него.

Подошел другой доктор, с лицом трамвайного контролера, и сильным голосом сказал фельдфебелю:

— На тот конец отправить восемьдесят человек!

Пленных двинули вперед и стали вводить в вагоны. Сзади надвинулись другие пленные. Теперь это были австрийцы, в мышино-серых шинелях и грязных, давно нечищенных штиблетах. Огромный австриец с молодым, детским лицом стоял на костылях, бережно держа на весу раненую ногу в повязке; рядом стоял другой австрияк, смешно маленький, с лицом пухлым и круглым. Они вполголоса разговаривали по-польски; по тону, каким они говорили, чувствовалось, что они большие друзья; это чувствовалось и по тому,

как маленький заботливо оправил шинель на плечах большого и застегнул ему под подбородком верхнюю пуговицу. Такое у большого было милое, детское лицо, и так беспомощно висела меж костылей огромная нога в повязке... Что-то дрогнуло и горько задрожало в груди у Марьи Петровны: господи, сколько народу перепорчено — молодого, здорового!

Тяжелораненых вносили в вагоны, от подъезда подносили новых. Носилки стояли длинным рядом. У ног Марьи Петровны лежал раненный в грудь венгерский гусар в узких красных рейтузах. Какое неприятное лицо! Тонкие, влажные губы под извилистыми, тонкими усиками; нехорошие черные глаза, как мелкие маслины. Марья Петровна отвернулась.

Полная дама с двумя черными султанчиками на круглой шляпе, наклонившись над носилками, говорила по-немецки с тяжелораненым германцем. Она выпрямилась и шумно вздохнула.

— Говорит, дома у него трое детей осталось, жена больная... И никто там не знает,

что с ним... Вот бед-ный!

С соломенной подушки смотрели глаза, глубоко ушед-шие в свою одинокую скорбь; и смерть невидимо уже отмечала своею печатью осунувшееся лицо; белесые усы обвисли на губе, как у трупа.

Полной даме хотелось выразить ему свое сожаление и сочувствие, и она говорила на плохом немецком языке:

— Ihr abschenlicher schlechter Kaiser! Warum hat er diesen Krieg angefangen! [1]

Кипела суетливая работа по нагрузке. Санитары по-спешно вносили носилки в вагоны. Пробежал фельдфебель и столкнулся с спешившим навстречу прапорщиком.

— Еще пятнадцать человек в номер пять, — распорядился прапорщик. — Остальных легкораненых назад, в теплушки!

— Слушаю-с!

Фельдфебель стал отсчитывать пленных, беря каждо-го за плечо: последним попал маленький, пухлый авст-рияк.

— Пятнадцать! Буде! Веди их вперед, живо! — скоман-довал фельдфебель конвойно-му.

Большой австрияк с детским лицом, на костылях остал-ся здесь. Он растерянно и умоляюще замычал, маленький просяще потянулся к нему, что-то стараясь объяснить руками фельдфебелю. Фельдфебель грозно сказал:

— Ну-ну!

— Живо! Живо! — торопил прапорщик.

Маленький австрияк уходил за другими к паровозу; хромой, опираясь на костыли, смотрел ему вслед. И Марья Петровна прочла в его детских глазах покорную готовность на страдание и ощущение неизбежности всего, что бы с ним ни делали.

Марья Петровна своим тусклым и неуверенным голо-сом обратилась к полной даме:

— Ну что, разве можно! Зачем их разделили?

— Кого разделили? — спросила дама тем небреж-ным тоном, каким все разговаривали с Марьей Петров-ной.

Марья Петровна не ответила и опустила голову. Пра-порщику это нужно было сказать, ему объяснить, — он бы распорядился их не разделять. Маленький устроил бы хромого в вагоне, ухаживал бы за ним, сбегал бы для

него за кипятком, — было бы им обоим друг от друга тепло... А теперь — выгрузят их в Орле, один в одной команде пойдет, другой — в другой, разделят навсегда. И кто их послушает, если станут проситься друг к другу? Марье Петровне матерински жалко было хромого и стыдно было, что она не сумела ему помочь.

Венгерский гусар с неприятным лицом лежал на носилках, управлял на себе рваную шинелишку и стучал от холода зубами; его извилистые губы под тонкими черными усами стали лиловыми. И у этого опять Марью Петровну поразило выражение глаз: он неподвижно смотрел в потолок железного навеса, весь ушедши в свою муку, и даже не думал просить жалости и помощи: как будто все это так и должно было быть. И он лежал среди людей, как в пустыне, дрожал, постукивая зубами, и его согнутые коленки в грязных рейтузах ходили ходуном. На виске, под околышем фуражки, чернели крутые завитки волос.

Марья Петровна вдруг стала задыхаться. Дрожащими руками она поспешно расстегнула свою лисью шубку. Расстегнула, покрыла

лежавшего венгерца. Горячие волны ударили ей из груди в горло. Она припала губами к курчавой голове венгерца и целовала ее, и плакала, — о сыне своем плакала, об иззябшем венгерце, обо всех этих искалеченных людях. И больше не было в душе злобы. Было ощущение одного общего, огромного несчастья, которое на всех обрушилось и всех уравнило.

1915

Примечания

1

Ваш отвратительный, плохой император! Зачем он начал эту войну! *(немецк.)*

[^^^]